

Е. Соловьев

**Очерки из истории Русской
литературы XIX века**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Е11

Е11 **Е. Соловьев**
Очерки из истории Русской литературы XIX века / Е. Соловьев – М.: Книга
по Требованию, 2021. – 603 с.

ISBN 978-5-518-01449-7

ISBN 978-5-518-01449-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

и теперь. Я говорю о Радищевѣ. И его трагическая судьба, и настроеніе, продиктовавшее ему его знаменитую книгу, являются какъ бы прообразомъ и символомъ цѣлаго вѣка нашего литературнаго развитія.

„Человѣкъ родится въ міръ и равенъ во всемъ одинъ другому. Всѣ одинаковые имѣемъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю“. Вотъ основное воззрѣніе, изъ котораго исходить Радищевъ *). Этого разума и воли никто отнять не можетъ. „Противъ врага своего онъ защиты и мщенія ищетъ въ законѣ. Если законъ или не въ силахъ его заступитъ, или того не хочетъ... тогда пользуется гражданиномъ природнымъ правомъ защищенія... Ибо гражданинъ, становясь гражданиномъ, не перестаетъ быть человѣкомъ, коего первая обязанность есть собственная сохранность, защита, благосостояніе“. Основывая святость человѣческой личности на идеѣ естественнаго права, Радищевъ переходитъ къ критикѣ крѣпостнаго состоянія.

„Рядъ разбросанныхъ въ книгѣ фактовъ,—говоритъ биографъ Радищева,—посвященъ изображенію отягченнаго жребія крестьянства... Помѣщикъ, заставляющій крестьянъ 6 дней въ недѣлю работать на господской нашинѣ и лишь воскресенье оставляющій имъ для работы на ихъ собственныя семьи, крѣпостные, осужденные за убійство семьи помѣщика, который не только обратилъ ихъ въ батраковъ, отнялъ у нихъ всю землю и истязалъ ихъ жестокими наказаниями, но еще и безчестилъ ихъ женъ и дочерей: помѣщикъ, введшій въ своемъ имѣніи *ius primae noctis* и лишь случайно спасшійся отъ смерти, уготованной ему крестьянами; распродаваемые съ аукціона люди, въ томъ числѣ дядька, кормилица, любовница и сынъ продающаго ихъ барина; дворовый, по барскому капризу получившій образованіе и, благодаря этому, тѣмъ съ большею силою чувствующій тяготящую надъ нимъ произволъ; крестьяне, вступающіе въ бракъ по принужденію господина; казенные крестьяне, покупающіе крѣпостныхъ у помѣщика для отдачи ихъ въ рекруты, — таковы важнѣйшія фигуры этой галлерей, наглядно убѣждающія Радищева въ томъ, что въ Россіи „крестьянинъ въ законѣ мертвъ“. Какъ бы заключая рядъ впечатлѣній, получаемыхъ читателемъ отъ этихъ фигуръ, и сводя въ одно цѣлое ихъ разрозненныя черты, Радищевъ въ одной изъ послѣднихъ главъ своей книги изображаетъ внѣшнюю обстановку жизни крестьянина. Рѣзкими штрихами набрасываетъ онъ картину жалкаго убожества этой обстановки, граничащаго съ нищетой. Жилище крестьянина — курная изба съ покрытыми сажей и грязью стѣнами, съ затянутыми пузырями окнами, изба, въ которой люди спятъ ночью вмѣстѣ съ животными, въ спертомъ воздухѣ которой свѣча горитъ, какъ въ туманѣ. Внутреннее убранство этой избы состоитъ изъ скудной утвари: двухъ-трехъ горшковъ — „сча-стлива изба, коли въ одномъ изъ нихъ есть пустыя щи“, — деревянной чашки и кружковъ вмѣсто тарелокъ, срубленнаго топоромъ стола, корыта для корма свиней и телятъ и кадки съ квасомъ, похожимъ на уксусъ. Одежда крестьянина — „посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки съ лаптями для выхода“. Вотъ въ чемъ,—воскли-цаетъ писатель,—почитается по справедливости источникъ государственнаго избытка, силы, могущества: но тутъ же видны слабость,

*) См. сборникъ „На славномъ посту“. Сиб. 1900 г.

недостатки и злоупотребленія законовъ и ихъ шероховатая, такъ сказать, сторона. Тутъ видна алчность дворянства, грабежъ, мучительство наше и беззащитное нищеты состояніе. — Звѣри алчные, пивяицы ненасытны, что крестьянину мы оставляемъ?—то, чего отнять не можемъ, воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъемлемъ нѣрѣдко у него не токмо даръ земли, хлѣбъ и воду, но и самый свѣтъ. Законъ запрещаетъ отъяти у него жизнь. — Но развѣ мгновенно. Сколько способовъ отъяти ее у него постепенно! Съ одной стороны почти всеиліе; съ другой немощь беззащитная. Ибо помѣщикъ въ отношеніи крестьянина есть законодатель, судія, исполнитель своего рѣшенія и, по желанію своему, истецъ, противъ котораго отвѣтчикъ ничего сказать не смѣетъ. Се жребіи заклепанныя въ узы, се жребіи заключеннаго въ смрадной темницѣ, се жребіи вола въ ярмѣ“...

Вотъ что видѣлъ передъ собою Радищевъ и вотъ отъ какихъ картинъ „душа его страданіями человѣческими уязвлена стала“. Въ заключеніе онъ горячо убѣждаетъ современниковъ приступить къ освобожденію крестьянъ. И не то же ли самое убѣжденіе слышали „русские современники“ отъ русской литературы въ теченіе слѣдующихъ 70-ти лѣтъ? Мнѣ кажется, что съ книги Радищева можно начинать исторію нашей самостоятельной литературно-общественной мысли.

Та же идея святости человѣческой личности, особенно яркая, потому что безличный крѣпостной мужикъ былъ на глазахъ у всѣхъ, создала самое оригинальное наше литературно-общественное теченіе—наше народничество. Ему какъ извѣстно, предшествовалъ періодъ сомнѣнія и отрицанія, періодъ безнадежнаго отрицанія русскаго будущаго.

Но вотъ на помощь и во спасеніе нашему интеллигенту пришелъ мужикъ и перевернулъ всю нашу психологію. Такъ сказать, изъ небытія мысли, хотя и огромной жажды ея—мы вступили на твердую почву, на цѣлыя десятилѣтія опредѣливши и наше настроеніе, и нашу работу. Тутъ есть за что, тутъ можно и должно сказать спасибо нашей деревнѣ, послужившей превосходной школой нашей мысли. Это началось съ Радищева, но опредѣлилось лишь въ сороковые годы.

Растерзанной фигурѣ Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятникъ. Ея духомъ, ея содержаніемъ она жила почти полвѣка — правда, содержаніемъ расширеннымъ и углубленнымъ, но въ сущности тѣмъ же самымъ. Здѣсь заключалась цѣлая программа, здѣсь былъ данъ лозунгъ — одинъ изъ тѣхъ лозунговъ, которые являються въ десятилѣтія, и второстепенное литературное произведеніе сыграло первую историко-литературную роль. Послѣ него можно было писать о чемъ угодно и сочинять что угодно, но тотъ писатель, который такъ или иначе не выяснилъ своего отношенія къ мужику, къ народу, не могъ уже рассчитывать на продолжительное общественное вниманіе: на него смо-

трѣли только, какъ на забавника, его читали только для развлечения, къ нему не относились серьезно. „Мужикъ“ и мужицкій вопросъ стали воистину нравственной цензурой—строгой, непреклонной, подчасъ неумолимой, избѣжать которой не было никакой возможности. Было признано, и всѣ согласились, что это „самое важное“. Сотни и тысячи произведеній посвящались „самому важному“; оно создавало репутаціи и уничтожало ихъ; оно подчиняло себѣ эстетику, оно стало душою критики, мало того—у Толстого оно вылилось въ цѣлую философски-религіозную систему. Какъ превосходно предчувствовалъ это Бѣлинскій, когда писалъ Боткину: „Будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь *дѣльна*—я не читаю, а пожираю... Ты сибарить, сладена... тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ шаржъ и аллегорію или не отзывалась диссертациею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества—она для меня тѣмъ не менѣе интересна“... (Письмо начала 1848 г.).

Несомнѣнно, что благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь въ концѣ сороковыхъ годовъ, мы перестали быть „странниками“; появилась дѣйствительная „сфера опредѣленнаго существованія, нѣчто такое, что „привязывало, что пробуждало наше сочувствіе, наше расположеніе и нравственное чувство“—появилась „почва мышленія и жизни“... Мужикъ выручалъ не разъ, надо сознаться, и есть что-то положительно трогательное въ этомъ настойчивомъ появленіи мужика, въ той молчаливой опекѣ, въ которой онъ держалъ нравственность не только отдѣльныхъ людей, но и цѣлыхъ историческихъ эпохъ.

Трудно сказать, насколько національныя особенности нашего характера, несомнѣнно существующія, хотя и неопредѣленныя, несмотря на попытки первыхъ славянофиловъ, потомъ Ап. Григорьева, Достоевскаго и т. д.—трудно, говорю я, сказать, насколько эти національныя особенности обусловливаютъ практицизмъ нашего мышленія. Во всякомъ случаѣ въ области теоретической мысли мы почти не проявили ни малѣйшей самостоятельности и мы, повторяю, практичны въ томъ смыслѣ, что все наше передовое художественное творчество насквозь проникнуто нравственными запросами. По поводу эпохи тридцатыхъ годовъ Герценъ говоритъ: „проповѣдь шла все сильнѣе... *все одна про-*

повѣдь. И смѣхъ, и плачь, и рѣчь, и книга, и Гоголь, и исторія все звало людей къ сознанию своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума и источникомъ всего этого было *проснувшееся сердце*“. Но развѣ нельзя ту же самую характеристику распространить на литературу всего вѣка? Думается, что, имѣя во главѣ нашей литературы Толстого и Достоевскаго, мы не можемъ иначе какъ положительно отвѣтить на этотъ вопросъ. Это придало особый проповѣдническій характеръ нашей литературѣ вообще, а въ частности нашей критикѣ.

Первымъ, кто рѣзко выразилъ особенности этой послѣдней, былъ, если не ошибаюсь, К. Аксаковъ. „Въ наше время,— писалъ онъ,— поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ, можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который выслушавъ изящное произведеніе спросилъ: *что этимъ доказывается?* Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ произведеніи является вопросъ, что этимъ доказывается... Такова наша эпоха“. Этими словами пропаганда объявляется главной задачей литературы. Сама литература обращается въ пропаганду. Бѣлинскій высказалъ ту же мысль въ словахъ: „Главное, чтобы повѣсть вызвала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе“. Совершенно справедливо замѣчено о Добролюбовѣ: „онъ понималъ, что бываютъ эпохи и задачи, несомѣстимыя съ эстетикой, что есть категоріи добра и зла, несомѣстимыя съ другими категоріями и, главнымъ образомъ, категоріей красоты“. Мнѣ нечего говорить, что въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи русская критика почти безъ исключеній подчинилась вліянію идей Добролюбова.

Наша критика была проникнута той же религіозно-нравственной идеей святости человѣческой личности какъ и наша литература. Но реализмъ русскаго мышленія она довела до крайняго его логическаго развитія. Вотъ что я говорю ниже о Добролюбовѣ: „быть можетъ это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-хъ годовъ... Я особенно настаиваю на словахъ „глубокая и серьезная“ и хотѣлъ бы даже удесятерить ихъ значеніе, замѣнивъ однимъ опредѣленіемъ: Добролюбовъ былъ *натура религіозная*, счастье человечества было его богомъ, и онъ служилъ ему, какъ жрецъ съ страстной любовью, нѣжнымъ умиле-ніемъ, но и безпощаднымъ негодованіемъ въ то же время противъ всѣхъ людей иной вѣры, иного кумира. Даже у противниковъ 60-нхъ годовъ по поводу Добролюбова вы-

рываются порою хорошия строки, какъ вырываются онѣ у всѣхъ, кто проникъ въ истинный смыслъ хотя бы одной изъ статей, написанной такъ безжалостно рано умершимъ критикомъ. Его обвиняютъ въ холодности, его называютъ подчасъ мертвой головой затвердившей одно слово: „счастье всѣхъ“ и безконечное число разъ переворачивавшей его на всѣ лады. Да, отъ него дѣйствительно вѣетъ холодомъ, но это холодъ сдержаннаго негодованія, холодъ страсти кристаллизованной, поглотившей всего человѣка, сдѣлавшей изъ него въ одно и то же время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконецъ. „Милый другъ я умираю оттого, что былъ я честенъ“—не пустыя слова и не гордыня духа. Честность, не та, конечно, пошлая мѣщанская честность, которая не воруетъ платковъ, а та большая, мучимая муками всѣхъ обездоленныхъ, откликающаяся на всѣ ихъ слезы, сдѣлавшая задачу ихъ отмщенія своей задачей, дѣйствительно свела ее въ могилу. И онъ ушелъ въ нее безъ слезъ и безъ отчаянія съ тѣми же словами предсмертнаго завѣта, съ которыми онъ при жизни,—обращался въ толпѣ учениковъ: „вѣрьте, что богъ—счастье всѣхъ людей, богъ, которому мы служимъ—теперь обиженный и опозоренный еще сойдетъ на землю во всей красотѣ и величїи и сдѣлаетъ изъ этой юдоли страданія и плача—юдолю красоты и веселья. Вѣрьте, что вы будете отомщены, потому что всѣ униженные и оскорбленные достойны отомщенія“.

Религіозно-нравственная идея нашей художественной литературы во всякомъ случаѣ не обходилась безъ нѣкоторой примѣси мистицизма, безъ нѣкотораго содроганія передъ тайнами и загадками жизни. Это видно хотя бы изъ постановки вопроса о злѣ. Несомнѣнно, напр., что у Гоголя, особенно у Достоевскаго это зло является чѣмъ-то абсолютнымъ, органически присущимъ человѣческой натурѣ, чѣмъ-то грознымъ и пугающимъ какъ первородный грѣхъ, какъ зараженный источникъ нашей жизни вообще. Читая нѣкоторыя страницы Достоевскаго, не можешь отказать отъ мысли, что онъ порою склонялся къ самому простому и конкретному дуалистическому міросозерцанію, признавая самостоятельность Злого Начала. Но уже ничего мистическаго не видимъ мы въ нашей критикѣ. И все же идея ея остается *религіозно-нравственной*, такъ какъ нравственныя начала жизни и дѣятельности понимались ею какъ имбюющія абсолютную санкцію. Въ глазахъ Бѣлинскаго счастье человѣка было началомъ абсолютнымъ, не требующимъ оправданія,—Добролюбовъ называлъ религіей такое дѣло, „которое было бы для людей жизненной необходимостью, сердечной святыней, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ, значило бы лишить ихъ жизни“. Общественное благо развитія и нравственная обя-

занность жить и умирать во имя его были несомнѣнными догматами.

Нашу критику часто упрекаютъ въ односторонности и узости ея основной точки зрѣнія, все сводившей къ общему благу. Просто говорятъ: критики, какъ самостоятельнаго искусства, у насъ еще не было; была публицистика, соціологія, проповѣдь—все что угодно, но не критика. Отчасти это справедливо, конечно, потому что критика наша всегда отводила искусству служебную роль и охотно смѣшивала его съ наукой. Спрашивается, какая другая критика могла развиться на почвѣ нашей великой художественной литературы, всегда стремившейся обличать, философствовать, учить,—той литературы, которая въ лицѣ своихъ признанныхъ главъ—Гоголя, Достоевскаго, Толстого, отрицала самостоятельное значеніе искусства, ставила его цѣлью благо общества и презирала служеніе красотѣ. Проведите внимательно параллель между взглядами на искусство Гоголя и Бѣлинскаго, Добролюбова и Толстого и серьезнаго принципиальнаго различія между ними вы не найдете. Итакъ душа нашей критики какъ и литературы „страданьями человѣческими уязвлена была“, но для нея съ самаго начала не представляла ни малѣйшаго сомнѣнія мысль, что „бѣдствія человѣка происходятъ отъ человѣка же“.

Итакъ прагматизмъ, т.-е. взглядъ на литературу, какъ на общественное служеніе, является для насъ русскихъ какъ бы традиціонно-обязательнымъ. Этимъ объясняются и великія ея достоинства и нѣкоторые недостатки. Великое достоинство въ томъ, что она стремилась утвердить въ умахъ людей идею святости человѣческой личности, естественно равной и равноцѣнной всѣмъ другимъ личностямъ; недостатокъ въ томъ, что доходя въ своемъ служеніи до аскетизма, она не избѣгла нѣкоторой суровости, пристрастія къ догматамъ, фанатизма въ проповѣди пользы, полезнаго, въ вопіянніи противъ красоты. По этому поводу мнѣ хочется прибавить нѣсколько словъ.

Русская интеллигенція, вообще говоря, привержена къ догмѣ. Какъ ни часто мѣняется эта догма, преданность къ каждому новому исповѣданію является почти что самоотверженной. Въ 30-хъ и сороковыхъ годахъ у насъ была догма гегеліанская, въ 60-хъ—материалистическая, въ 70-хъ народническая, въ 80-хъ индивидуалистическая, въ 90-хъ марксистская. По нашей юной культурности, съ одной стороны, по лѣности мысли и горячей впечатлительности сердца, обойтись безъ догмы мы не можемъ. Она намъ нужна, чтобы не думать самимъ. Въ прошломъ—только скромные ученики Европы, мы такъ привыкли къ этому ученичеству, что, сами

думая, чувствуемъ себя въ состояніи полной растерянности. Наша философская мысль дѣйствительно очень слаба, прямо таки плачевна. Ничего оригинальнаго и цѣннаго. Даже свое собственное народничество мы разработали такъ плохо съ логической стороны (напр., труды Юзова, В. В., публицистика Ап. Григорьева и Достоевскаго и т. д.), что намъ было бы стыдно предъявить его Западу въ качествѣ *tastimonium philosophandi*, т. е. свидѣтельства о способности философствовать. Больше того: само по себѣ логическое развитіе идей интересуеъ насъ очень мало. У насъ нѣтъ той огромной дисциплины мысли, которую дала европейскому мозгу средневѣковая схоластика, и подступая къ какой-нибудь системѣ, мы прежде всего смотримъ на ея послѣднюю страницу — ея нравственные выводы и — бѣдныя — есегда и во всемъ ищемъ правилъ поведенія. Нѣсколько грубо, но въ сущности совершенно справедливо сострилъ Влад. Сер. Соловьевъ надъ 60-ыми годами, сказавъ: „тогда разсуждали слѣдующимъ образомъ: такъ какъ ты, смертный, произошелъ отъ плѣшявой обезьяны, то долженъ быть нравственнымъ и общественно полезнымъ“. Разсуждали, положимъ, не такъ, но дѣйствительно связь между теоретическими посылками и нравственными выводами была случайна и произвольна, и о томъ, чтобы сдѣлать ее прочной и логически-нравственной позаботились уже 70-ые годы. Но даже и это относится въ сущности не столько къ особенностямъ нашей мысли, сколько общественнаго строя. Имѣя въ виду нѣкоторыя его стороны, мы до самозабвенія увлекались, напр., матеріализмомъ. И мнѣ кажется, что матеріализмомъ увлекались совсѣмъ не потому, что находили особенно привлекательнымъ считать себя продуктомъ „слѣпыхъ силъ природы“, а по другой причинѣ: въ матеріализмѣ видѣли доктрину наименѣе таинственную и будто бы наиболѣе свѣтскую, лишенную всякаго мистическаго тумана и проистекающихъ изъ него обществоположеній жизни—говоря проще анти-клерикальную. Матеріализмъ прежде и больше всего былъ боевымъ орудіемъ.

Все это такъ, и въ жесткихъ словахъ Тургенева: „главное, чтобы былъ у насъ баринъ... То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору“...—много справедливаго. При нашей впечатлительности извѣстная догма закрываетъ отъ насъ весь Божій міръ. Ея признаніе или непризнаніе дѣлаетъ насъ на враждебныя другъ другу и злобно другъ друга ненавидящія партіи или, чтобы не такъ громко—кружки. Мы любимъ падать въ ноги и часто падаемъ... прямо въ грязь. Что станете дѣлать, если такое воспитаніе дала намъ исторія, если ни чему другому она насъ не научила, если всѣ ея внушенія сводились къ тому, чтобы лишитъ насъ всякой вѣры въ себя, всякаго чувства собствен-

наго достоинства. У насъ нѣтъ чувства мѣры, ибо мы привыкли къ безмѣрному, мы выросли въ школѣ Батяи и Мамая, Грознаго и Никона, Бирона и Шешковскаго, Аракчеева и Клейнмихеля и т. д.

Мысль человѣческая сильна не столько своей логикой, своимъ рационализмомъ сколько своей исторической традиционной основой, своей близостью къ дѣйствительности, къ непреложнымъ фактамъ жизни и своимъ нравственнымъ содержаніемъ—элементами своего чувства и воли, хотѣнія. Но по части исторической основы у насъ очень слабо, и сомнѣніе Чаадаева въ томъ, чтобы у насъ вообще была бы какая-нибудь историческая основа для бытія и мысли, остается въ значительной силѣ и въ наши дни. Дѣйствительности мы не знаемъ или, вѣрнѣе сказать, только что начинаемъ узнавать ее. Поэтому въ нашихъ глазахъ мысль сильна только своимъ нравственнымъ содержаніемъ.

И тутъ-то вотъ выступаетъ на сцену красивая, хорошая сторона нашего догматизма. Въ любой теоріи мы ищемъ не системы доказательствъ, не стильной цѣпи логическихъ аргументовъ—мы ищемъ лишь оправданія своего нравственного существа, выхода для накопившейся жажды общественной дѣятельности, любви, стремленія помочь обездоленнымъ—этого святого стремленія, завѣщаннаго намъ всей нашей хорошей и честной въ главномъ своемъ руслѣ русской литературой.

Этого Тургеневъ, поддавшись минутному, впрочемъ, раздраженію противъ матреновцевъ, не замѣтилъ. Но какъ хорошо, какъ проникновенно замѣтилъ и отмѣтилъ это Достоевскій, сказавъ, что русскому интеллигенту нѣтъ дѣла до его личного счастья, мало дѣла до счастья своего народа, но настоящее его дѣло—это счастье всѣхъ, счастье всего человѣчества.

Изучая прошлое нашей мысли, т. е. прошлое неосуществленной пока русской цивилизаціи, мы въ каждомъ теоретическомъ увлеченіи, подъ каждой догмой должны искать и нравственнаго содержанія, и нравственнаго фундамента. Безъ этого не будетъ понятнымъ „чтеніе до дыръ ничтожныхъ брошюркъ о Гегелѣ“—котораго въ концѣ концовъ мало кто и понялъ, конечно. Ничего не будетъ понятно безъ этого. И какъ поймешь, напр., такую формулу: „такъ какъ ты любишь только себя, ты жертвуй собою для счастья всѣхъ“ или: „пусть сѣкутъ: мужика сѣкутъ же“ и т. д.? Догма, теорія—это одежда, часто совсѣмъ не подходящая, уродливая и безобразная скрытую подъ ней истинную нравственную сущность.

И все же она намъ нужна, именно потому, что мы не умѣемъ, не привыкли думать. Когда мы тратимъ свои силы на установленіе логической связи—у насъ по большей части

ровно ничего не получается, когда же по части логики мы успокоены, когда мы только усваиваемъ Гегеля, Фейербаха, Милля, Прудона, Маркса и т. д., всѣ наши духовныя силы бурнымъ потокомъ устремляются по руслу чувства или—по нравственному руслу.

Въ этомъ наша слабость и наша сила. Слабость—потому что безъ исторической основы, безъ знанія дѣйствительности, безъ строгой логической аргументаціи мысль вообще слаба; сила, потому что мы быстро мѣняемъ теоріи—одежду нашей воли, нашего хотѣнія, цѣль котораго счастье народа и счастье всѣхъ. Преобладаніе нравственного элемента дѣлаетъ насъ исконными врагами всякой схоластики, всякаго „теоретическаго“ самодовольства.

Пока—наша стихія чисто этическая.

Идея, что литература служить обществу и его нравственному совершенствованію заставляла нашихъ писателей особенно чутко прислушиваться къ голосу своей совѣсти—этого главнаго вдохновителя барской эпохи нашего литературнаго творчества. Неправоту общественной жизни, основанной на чужомъ трудѣ, неправоту своего общественнаго положенія, своихъ привилегій русскіе люди заподозрѣли уже со временъ Радицева. Не всегда совѣсть говорила совершенно ясно, не всегда опредѣленно указывала она на источникъ своего возмущенія и негодованія—но она почти всегда говорила. Какъ было трудно заглушить ее софизмами мысли, видно изъ печальнаго эпизода съ „Перепиской“ Гоголя и его оправданіемъ крѣпостничества. Эта возмущенная и негодующая совѣсть всегда ставила передъ человѣкомъ грозный вопросъ о смыслѣ его личной жизни, о ея нравственномъ оправданіи. Недавно еще Толстой спросилъ, какъ же можемъ мы жить, зная, что для исполненія нашихъ прихотей люди должны работать 37 часовъ подъ рядъ? Этотъ вопросъ цѣлыхъ сто лѣтъ не сходилъ въ той или другой формѣ со страницъ нашей литературы. И развѣ теперь мы не можемъ повторить „Деревни“ Пушкина, хотя бы этихъ строкъ:

Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя.

Отказъ отъ своего привилегированнаго общественнаго положенія, вызванный муками возмущенной совѣсти, вы слышите и у Радицева, и у декабристовъ, и у Лермонтова и, чѣмъ дальше, тѣмъ больше и яснѣе. Лермонтовъ не дорожитъ ни славой, купленною кровью, ни полнымъ гордаго довѣрія покоемъ, хотя, очевидно, что на этихъ двухъ устояхъ зиждились привилегіи его и близкихъ ему людей. Прослѣдите дальше борьбу съ крѣпостнымъ правомъ, вспомните „ганнибаловскую клятву“ Тургенева, скорбь

Герцена, негодование Щедрина весь первый периодъ нашего народничества и вы увидите, что голосъ совѣсти тутъ слышнѣе всего. Лучшіе люди нашего стараго барства не только усердно, но и вдохновенно, съ фанатизмомъ иконоборцевъ подрубали тотъ сукъ, на которомъ сами они сидѣли. Это дѣйствительно оригинальное и красивое зрѣлище. Въ 60-ые годы совѣсть была до нѣкоторой степени удовлетворена, потому что рухнула твердыня крѣпостного права. Но скоро она опять заговорила и еще слышнѣе, и еще напряженнѣе. Тутъ передъ нами на первомъ планѣ одинъ изъ самыхъ красивыхъ, хотя и болѣзненныхъ русскихъ типовъ — типъ кающагося дворянина. Тутъ—голосъ совѣсти, встревоженной воспоминаніями о неправдѣ предковъ, тутъ безкорыстнѣйшее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожанія, то презиравшей себя всей полнотой презрѣнія.

Въ кающемся дворянинѣ прежде всего и слышнѣе всего голосъ совѣсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образование, откуда культурныя стремленія, откуда тонкость вкуса, откуда благороднѣйшія побужденія и на все это у него готовъ одинъ отвѣтъ: „все оттуда же. все изъ условій крѣпостного состоянія, въ которомъ цѣлые вѣка томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормилъ, одѣвалъ, услаждалъ моихъ предковъ, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшнѣ, полнымъ пренебреженіемъ къ личности чело-вѣка“... Онъ можетъ, конечно, успокоить себя, вотъ какимъ разсужденіемъ: „мои пріятели, крѣпостные Федька и Яковъ проданы, и этою цѣною оплачено мое воспитаніе; такимъ образомъ созданъ образованный гуманный, развитой, либеральный молодой чело-вѣкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болѣе расширить предѣлы гуманности, образованности, развитія и либерализма“,—но онъ не хочетъ, не можетъ сдѣлать этого. Его мучитъ совѣсть. Его тяготитъ дворянское происхожденіе. Онъ знаетъ, что онъ долженъ отвѣтить за все это, долженъ искупить вину. И онъ спѣшитъ, торопится, хотя каждый шагъ дается ему нелегко. Онъ точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаяннымъ присутствомъ, надрывомъ беретъ крутизны:

„Но во имя правды,—воскликаетъ онъ,—пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости“. Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпѣлъ впоследствии, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое. Нѣтъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свѣта!.. Какъ не каяться, если совѣсть